



## ЗАЙЧИК

Однажды осенью под вечер я проходил мимо усадьбы, из которой мужики только что выгнали хозяев. Я остановился, пораженный красотой тройного умирания: усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал. А на самом конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, сидел заяц...

Я не поверил своим глазам, — подумал, мне это чудится, а заяц как ни в чем не бывало сидел на той самой ступеньке, где так часто, бывало, я сам любил под вечер присесть.

Я знал историю этого дома, собирался давно ее написать, материалы были прекрасные, а главного лица не было; как я ни бился, герой не показывался. Теперь же вот, как будто в насмешку надо мной, на место героя уселся заяц. И горько мне стало: неужели действительно моя родная, любимая земля не даст героя? Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию, да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей, но они вышли действительно, как духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее: выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучи навоза. И мне стало казаться, что один старичок, совсем незна-

чительный, укреплявший овраги садами, был достойней для моего романа, чем все эти великие люди. Я готов был остановиться на этом старике, но вспомнил, что, кроме садов и оврагов, он по воскресеньям тоже занимался литературой: писал листки под названием «Двенадцать добрых дел» и рассылал их знакомым с просьбой отсылать дальше. Вспомнив про это, я отказался от старика: невозможно же, правда, сделать героем большого романа человека, заключенного в кругу двенадцати добрых дел. Между тем таинственный заяц все сидел на террасе и тоже как будто о чем-то мечтал. Было уже довольно светло, и я знал, что наши обыкновенные зайцы в это время еще плотно лежат по дубовым кустарникам.

«А что, — подумал я, — случай, быть может, посылает мне этого зайца на помощь: «Смирись, мол, писатель, не умствуй, герой — это выдумка, а личность, наверно, есть и в этом зайчишке».

— Что вы тут, батюшка, разглядываете? — спросила меня старуха, дьячихина мать.

— Марья Васильевна, — сказал я, — слышали вы, чтобы где-нибудь заяц днем ходил по домам?

Старуха всмотрелась и вникла. Я подсказал:

— Заяц ли это?

Она перекрестилась. Заяц, верно, заметил движение и вдруг пропал.

— Вот видите, — сказал я, — креста боится. Не сам ли это хозяин тут баламутит?

Старуха еще раз перекрестилась, уже не из страха, а из благодарности за действие креста, и тоже очень таинственно мне прошептала:

— И очень просто, — прикинулся, да и высматривает. Не миновать какой-нибудь беды мужикам.

Старуха потом, конечно, рассказала и на деревне о явлении зайца, и, кто знает, не из-за этого ли зайчика наши суеверные крестьяне через несколько дней разнесли усадьбу в пух и прах.

После того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем, но даже и личность в нем необязательна: он может просто, как зайчик, выйти посидеть на терраску, а из-за этого произойдут события грандиознейшие. Так бывает!

К сожалению, в этот раз мне все-таки не удалось сделать вполне героем зайца; мало-помалу я с ним так сроднился, что дал ему черты мальчика, каким я сам был, хотя имя оставил ему все-таки заячьё: Курьмушка.

Некоторые из моих друзей, прочитав рассказы о Курьмушке, однако совершенно не догадались, что рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике, и все приняли как автобиографию и семейную хронику.

Что же делать? Ведь от себя самого не уйдешь. Мы не маленькие дети, и не спасет нас от скуки чтения даже самая хитрейшая фабула. Пора уже знать, что только близость автора к себе самому и способность его приблизить других к себе так, чтобы они были как будто совершенно свои, родные, находят отклик в читателе. Тогда зачем же ходить далеко? Вот моя собственная жизнь и с ней те, кого я любил, кого боялся и ненавидел. Рано или поздно все тайны будут непременно раскрыты — не мной, так другим: нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Вот пень огромного дерева, выросшего от семени, занесенного когда-то птицей в эту усадьбу. Дерево перебыло здесь прекрасную жизнь и раскрыло все возможности, заложенные в семя. Но правда ли, что, сосчитав все годовые круги огромного пня, я узнал что-нибудь о тайнах прекрасного дерева? Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды в конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, не явился мне таинственный зайчик и я, пораженный красотой тройного умирания, не задумал сделать эту сказку — и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую.





# КНИГА ПЕРВАЯ

Курымушка





# Звено первое

## ГОЛУБЫЕ БОБРЫ

### ВЕТОЧКА МАЛИНЫ

В Ельце, моем родном городе, все старинные купеческие фамилии были двойные: первое имя, хотя бы наше, Пришвины, было имя родовое и официальное, а второе имя считалось «уличным»: наше уличное имя было Алпатовы. И так точно было у всех: Лавровы, Ростовцевы, Горшковы, Хренниковы, Романовы, Заусайловы, Лагутины — у всех решительно были вторые «уличные» имена.

Разделение купеческих имен — явление до того заметное и всюдное, что, наверно, есть этому и какое-то разумное объяснение, но до всего не дойдешь, а когда потребуется самому объяснить, и не знаешь, для чего и как это делалось. Мне всегда казалось, будто вторые имена являются простейшей попыткой вывести живое современное имя из его родовой заключенности на суд общества, пусть хотя бы и уличного.

Еще я так думаю о вторых именах и о первых, что первое имя от тебя никак не зависит, и когда его давали кому-то, это родовое имя, ты еще не существовал. Второе имя пришло, опять не глядя на тебя, а на какого-нибудь твоего, быть может, очень отдаленного, предка. Третье — твое собственное, личное имя открывает путь тебе самому и представляет собой как бы право на усилие сделаться таким, как хочется тебе самому и что можно назвать поведением.

Так вот и выходит, что у одного и того же человека может быть три имени: с одним он родился, другое ему при-



шло с улицы, а третье, его собственное, личное, живое «я», каждый чувствует, и отвечает за него, и создает с помощью его небывалое.

С малолетства чувствовал в себе напор сил для борьбы за свое собственное имя. Редко, очень редко удавалось мне в те времена оставаться победителем. Так было раз в детстве: я признался своему маленькому другу, что я, может быть, вовсе даже совсем и не Пришвин.

— Кому ты говоришь! — ответил мой друг, — я ли не знаю, что вас, Пришвиных, на улице везде называют «Алпатовы»?

— Вот еще! — воскликнул я почти обиженно, — я тебе хотел свою большую тайну открыть, а ты говоришь о том, что всем известно: Алпатовы — это наша старинная уличная кличка.

— А если ты не Пришвин и не Алпатов, то кто же ты?

— А вот угадай, — ответил я.

И прочитал ему первое мое стихотворение:

Скажи мне, веточка малины,  
Где ты росла, где ты цвела,  
Каких холмов, какой долины  
Ты украшением была?

— Понимаешь меня теперь? — сказал я. — Стихотворение Лермонтова «Ветка Палестины» и мое «Веточка малины» так близки друг другу и так далеки и от Пришвиных, и от Алпатовых, что скорей всего, мне кажется, по-настоящему я Лермонтов.

— Позволь, — сказал мой друг, — твоя «Веточка малины» всего только двумя словами разнится от Лермонтовой «Ветки Палестины», так может каждый подделаться легко, и от этого сам не обернешься ни в Лермонтова, ни в Пушкина.

Каждый, конечно, по себе испытал, что иная душевная рана держится на тебе гораздо дольше и причиняет всякого рода беспокойства гораздо сильнее раны физической.

Вполне допускаю, что этот первый самообман и породил во мне особый стыд к писательству, и не только в стихах, но и в прозе: только после тридцати лет я решился попробовать писать прозой. А в стихах у меня бывает стыд не только за себя, но и за всякого порядочного человека: я краснею

за него, стыжусь по-настоящему и непременно вспоминаю свою «Веточку малины».

Вот какой срам пришлось пережить еще в детстве, и вот какая ясность чего-то настоящего, и, в свете этого настоящего, какое высокое представление о настоящей поэзии: что чуть только фальшь в чем-нибудь, так и сейчас стыдно!

И все это оттого, что автор, даже такой, как маленький я со своей «Веточкой малины», сам-то про себя думает, что он приходит с новорожденным словом, что он несет в свет своим словом нечто новое, небывалое.

Мало того! Если бы каждый из нас начинал свою жизнь попыткой сказать или сделать что-нибудь совершенно новое, небывалое, а не повторял бы, как попугай, слова, сказанные кем-то другим, и не только бы в поэзии, так и во всем своем поведении, то мир человеческий очень скоро переменялся бы.

И вот что тоже замечательно: сколько уже лет смеялись над бедным Дон Кихотом, что он сказал длинную речь своему коню Росинанту, а конь после того вернулся в конюшню. Но мало того, что над Дон Кихотом добродушно смеялись: Дон Кихотом некоторые даже прямо бранились. И все-таки, несмотря ни на смех, ни на брань, этот герой человечества, неудачник из всех неудачников, не обозлился на человечество и тем самым сохранил свое человеческое право на дружбу: мы дружим все с Дон Кихотом до сих пор, и так будет всегда.

Так было и с этой оглушительной оплеушиной в самое место начала сознания своей личности, когда в тени гения Лермонтова я хотел было со своей «Веточкой малины» оторваться от родового имени Пришвиных, занятых когда-то полезным делом вытачивания необходимой части ткацкого станка, пришвы.

Оказывается, что не так-то легко оторваться от прошлого и объявить себя не связанным родом своим и племенем. И уж если рассказывать о том, как я сделался писателем, то надо рассказать прежде всего о том времени, когда я вовсе и не помышлял делаться писателем.

## ХРУЩЕВО

Родился я в 1873 году в селе Хрущево, Соловьевской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы.

Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой — церковь, рядом с церковью «Поповка», где жили священник, дьякон и псаломщик.

Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая — в Поповке и третья — в усадьбе.

Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом — уходящими в бесконечность черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом.

В этом большом помещичьем доме я и родился.

С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и всегда мне хотелось раздеться и быть просто мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий».

Это маленькое имение, около двухсот десятин, было куплено дедом моим Дмитрием Ивановичем Пришвиным, елецким потомственным почетным гражданином, у дворянина Левшина, кажется, генерала.

После семейного раздела Пришвиных Хрущево досталось моему отцу, Михаилу Дмитриевичу Пришвину.

Вот так и случилось, что елецкий купеческий сын, мой отец, сделался помещиком.

В барском имении мой отец вел себя не по-купчески: весь огромный усадебный двор он окружил строениями для кровных орловских рысаков, вдоль ограды тянулась длинная и новая маточная [Маточная — помещение для кобыл с маленькими жеребятами. (Здесь и далее примеч.

М. М. Пришвина.)), поперек под углом — старая маточная и за нею — варок [Варок — огороженное место для выгула коней.]. В доме всюду во множестве были развешаны портреты отечественных рысистых коней, написанные знаменитым в то время художником Сверчковым.

Рассказывали мне, что отец сам выезжал рысаков и не раз в Орле брал призы. Еще отец мой был замечательным садовником, и некоторые его цветы, поддержанные после его смерти моей матерью, и особенно фруктовые деревья так и остались со мною на всю мою жизнь.

А еще отец, конечно, был превосходным охотником. Догадываюсь, что среди хороших знакомых отец был веселым затейником, и та чудесная музыкальная речь, которая мне везде и всюду на родине слышится, может быть, тоже была украшением веселой жизни хрущевского «принца».

Скорее всего, я думаю теперь, кроме маленького имения, отцу при разделе досталось немало тоже и денег, а то откуда же взять средства на такую веселую жизнь! Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь.

Где тонко, там и рвется, и, наверно, для такой веселой, свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму; чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то вот и начинать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер, и моей матери, женщине в сорок лет с пятью детьми мал мала меньше, предоставил всю жизнь работать «на банк».

Вот почему теперь я и держусь своей матери: через мать я природе своей получил запрет, и это сознательное усилие принесло мне потом счастье.

Я был еще совсем маленьким, когда умер мой отец, и до того еще был неразумным, что событие смерти отца в нашем хрущевском доме не переживал глубоко. Если теперь говорю, что жалею отца, то не его именно жалею, а того отца, кто мог бы своим вниманием указать мне в жизни истинный путь. Всю свою жизнь я чувствовал недостаток такого отца,